

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Жуковский и время



ИЗДАТЕЛЬСТВО ТОМСКОГО УНИВЕРСИТЕТА
2007

В.А. Кошелев

«Владимира времена» и рождение русского романтического сознания

Фантазии небесной
Давно любимый сын,
То повестью прелестной
Пленяет Карамзин,
То мудрого Платона
Описывает нам
И ужин Агатона,
И наслажденья храм,
То древню Русь и нравы
Владимира времен
И в колыбели славы
Рождение славян¹.

Это – характеристика «деяний» Н.М. Карамзина из знаменитого послания К.Н. Батюшкова «Мои Пенаты», писавшегося в конце 1811 – начале 1812 г. В нем выделяются два произведения писателя. Первое «деяние» – почти двадцатилетней давности: очерк «Афинская жизнь» (1793), где изображен ужин в «храме наслажденья». Второе – еще не законченная и не известная широкому читателю «История государства Российского»: ее первые восемь томов были завершены к 1815 г. и напечатаны только в 1818-м. В то время, когда Батюшков упомянул ее в своем послании, Карамзин, преодолевший этап изучения исторических источников, только еще начал формировать текст самого сочинения.

Впрочем, в ранней редакции «Моих Пенат» никаких «Владимира времен» не было. Прочитанное выше место выглядело совсем иначе:

Пером из крыльев Леля
Здесь пишет Карамзин,
Преемник Мармонта,
В таблицах Мнемозин
Любовны приключенья
Девич и светских дам
И сладки откровенья
Чувствительным сердцам².

Батюшков весной 1812 г. послал эту раннюю редакцию послания одному из его адресатов – П.А. Вяземскому. И тот (в письме от 1 мая 1812 г.) высказал ряд замечаний, большинство из которых касалось как раз характеристики Карамзина: «Стихи твои о Карамзине несносны: что за “перо из крыльев Леля”? Что ты за Бланк такой, чтоб красть, и у кого еще: у Панкратья Сумарокова? Что за похвала Карамзину, что он пере-

вел Мармонтелевы повести? Что за *таблицы Мнемозин*? Что значит таблицы? Что за Мнемозины, когда все, даже и Макаров, знают, что только одна Мнемозина?»³.

Батюшков – в ответном письме от 10 мая – хоть и попробовал вяло поспорить с некоторыми замечаниями⁴, но всё же счел за лучшее строки о Карамзине переделать и ввёл-таки в текст его «Историю...». Дело в том, что еще в начале весны 1811 г. Карамзин читал своим московским приятелям какие-то начальные главы «Истории государства Российского». Об этом чтении Батюшков сообщал в письме к Н.И. Гнедичу из Москвы от 13 марта 1811 г.: «Карамзин опять в Твери, говорят, по приказанию государя. Я недавно слышал чтение его истории и уверяю тебя, что такой чистой, плавной, сильной прозы никогда и нигде не слышал»⁵.

Батюшков появился в «цехе задорном» русских литераторов в то самое время, когда Карамзин уже ушел из этого «цеха». Не вполне принимавший московских подражателей Карамзина («лица новы из белокаменной Москвы»), он вместе с тем с почтением относился к самому «основателю» и не вывел его в сатире «Видение на берегах Леты» (1809), объяснив Гнедичу: «Карамзина топить не смею, ибо его почитаю». Он познакомился с историком зимой 1810 г. в Москве. Знакомство произошло в середине февраля – и с этого времени общение оказывается очень активным: «Карамзина я люблю и бываю ежедневно; он очень умен»⁶. Летом 1810 г. Батюшков, по приглашению Карамзина, гостит у него в Остафьеве. Весной следующего года – присутствует при «чтении его истории»...

Батюшков в «Моих Пенатах», кажется, первым из современников публично «анонсировал» карамзинскую «Историю...» – и сделал это в очень не простое для Карамзина время. В письме к Гнедичу от 29 мая 1811 г. он откликается на речи А.С. Шишкова и Е.И. Станевича, сказанные при открытии петербургской «Беседы любителей русского слова»: «И этот человек, и эти люди *бранят Карамзина за мелкие ошибки и строки, написанные в его молодости*, но в которых дышит дарование!» И далее – сообщает об открытии московского Общества любителей российской словесности: «Но подожди: и у нас будет беседа: Кутузов, Мерзляков, Каченовский, Антонский со всем причетом московских профессоров», которые «ничего не пишут и писать не в состоянии, но все бранят и, *не имея понятия о истории Карамзина, бранят ее без пощады*». И – в письме от августа-сентября 1811 г.: «Каченовский меня не удивляет. Мерзляков любит хвалить себя, себя, и еще себя. *Эти люди Карамзина не ставят ни в грош*»⁷.

Действительно, Карамзин, внезапно «замолчавший» для текущей литературы на целое десятилетие, дал повод «лицам новым» в словесности относиться к нему свысока. Батюшков, напротив, увидел в слы-

шанных им главах еще не написанной «Истории...» нечто новое: «чистую, плавную, сильную прозу». И позднее, составляя свой «план» развития русской словесности, он определил именем *Карамзина* целый ее период: «*Карамзин*. Ход его. Влияние на язык вообще»⁸. В Карамзинистике он оценил прежде всего писателя нового типа.

В сущности подобную оценку «Истории...» Карамзина дал и Пушкин. В сохранившемся фрагменте из ранних автобиографических записок (1822–1825) он вспомнил о том времени, когда сам, во время тяжелой болезни, познакомился с этим «огромным созданием Карамзина»⁹: «Это было в феврале 1818 года. Первые 8 томов Русск<ой> Истории Кар<амзина> вышли в свет. Я прочел их в моей постеле с жадностью и со вниманием. Появление сей книги (как и быть надлежало) наделало много шуму и произвело сильное впечатление, 3000 экземпляров разошлись в один месяц (чего никак не ожидал и сам Карамзин) – пример единственный в нашей земле. Все, даже светские женщины, бросились читать историю своего отечества, дотоле им неизвестную. Она была для них новым открытием. Древняя Россия, казалось, найдена Карамзиным, как Америка – Колумбом» (XII, 305).

Пушкин выделил две существенные особенности, которые отличали сочинение Карамзина от предшествующих сводов русской истории (И.П. Елагина, И.И. Болтина, Н.А. Львова и т.п.). Во-первых, эта история была приближена к собственно *литературным* откровениям своей эпохи: она была написана таким языком, что ее оказалось «не скучно» читать «*даже* светским дамам». И именно для «светских дам», носительниц «мнений» своего времени, совершалось карамзинское «открытие». Историческое сочинение впервые ставилось на уровень литературного откровения и представало в формах «образцовой» прозы: «Вопрос, чья проза лучшая в нашей литературе? Ответ – *Карамзина*» (XI, 19).

Во-вторых, карамзинская «История...» отличалась от прежних исторических сочинений тем, что она не только предполагала, но даже и «провоцировала» *критическое* отношение как к ее «слогу», так и к ее «духу». Пушкин иронически рисует «глубокомысленные» суждения тех же «светских дам» по поводу отдельных выражений – «ничего не могу вообразить глупей» (XII, 305). Но эти «глупые» суждения явились опять же косвенным показателем вполне серьезного «интереса» общества. Все принялись *спорить* с Карамзиным: и «молодые якобинцы», и «старые» московские профессора во главе с М.Т. Каченовским, и – позднее – журналисты, противопоставлявшие историю *государства* истории *народа* (Н.А. Полевой). При этом Пушкин отметил ярчайший факт: «В журналах его не критиковали. Качен<овский> бросился на одно предисловие» (XII, 305). Полемика формировалась на уровне салонных разгово-

воров, свободных от цензурных условий. Возникло новое явление, позднее обозначенное как «пиар»: общественное признание формировалось в полемике, не зависимой от официального славословия.

Батюшков в 1818 г., познакомившись с «Историей...», написал комплиментарное послание Карамзину – но и в нем сумел отразить это новое для русского общества явление. В основу послания был положен эпизод из «Эмилиевых писем» М.Н. Муравьева, рассказывавший о том, как греческий «отец истории» Геродот читал свою «Историю греко-персидских войн» на Олимпийских играх:

Но в сей толпе многонародной
Как старца слушал Фукидид!

Фукидид между тем осознавался и как будущий *историк нового типа*, предложивший иной, по сравнению с Геродотом, метод описания событий прошлого.

И я так плакал в восхищеньи,
Когда скрижаль твою читал...

Батюшков фактически подтверждал особенную значимость «живой» карамзинской «Истории...»: она неизбежно послужит началом нового исторического движения, которое возникнет в России на основе созданной «скрижали». Это ощущение он испытал и раньше – едва услышал эту «Историю...» в прочитанном фрагменте.

В «Моих Пенатах» он точно обозначил тот фрагмент «Истории...», который Карамзин весной 1811 г. прочел в кругу московских единомышленников: «нравы *Владимира времена*». Позднее этот фрагмент составил главу IX первого тома «Истории государства Российского» и действительно определил собою особенную художественную манеру «Колумба российской истории».

Особенности этой художественной манеры Карамзина указал Пушкин: «Он рассказывал со всею верною историка, он везде ссылался на источники – чего же более требовать было от него?» (XII, 306). Каждый из напечатанных томов «Истории государства Российского» делился на две части: собственно историческое повествование и «Примечания» к основному тексту (по объему, подчас, превышавшие его). Эти «примечания» содержали не только ссылки на источники сообщенных сведений, но и критический анализ этих источников, и весьма ценные попутные замечания. Именно в этих примечаниях Карамзин, в сущности, и представал собственно «историком» – в самом же «повествовании» он воплотил несколько иную данность, также отмеченную Пушкиным: «Карамзин есть первый наш историк и последний летописец.

Своею критикой он принадлежит истории, простодушием и апофегмами хронике» (XI, 120). Под «критикой» в данном случае разумеется как раз состав карамзинских «примечаний»: «Критика его состоит в ученом сличении преданий, в остроумном изыскании истины, в ясном и верном изображении событий. <...> Нравственные его размышления, свою иноческую простотою, дают его повествованию всю неизъяснимую прелесть древней летописи. Он их употреблял, как краски, но не полагал в них никакой существенной важности» (XI, 120).

Пушкин обратил внимание на «промежуточное» положение Карамзина – *первый историк и последний летописец*. В своем основном историческом рассказе он отправлялся как раз от традиции летописного повествования («монументального историзма»), сопровождая это повествование «нравственными размышлениями» в форме особенных сентенций («апофегмов»), в которых собственно «летописный» рассказ обогащался неповторимой и наивной этикой просветителя начала XIX столетия.

Эти особенности проявились прежде всего в представлении «Владимира времян». До Карамзина никому не приходило в голову представить «былинного» и прославленного церковью «крестителя Руси» («святой равноапостольный князь») таким человеком в развитии, свободном от агиографических или былинных традиций «прославления»: здесь он следует как раз *летописной* традиции. Замечательный историк Б.А. Романов, исследуя характер князя Владимира, представленный в начальной летописи, отмечает: «В рассказе этом Владимир – еще язычник, побежденный “похотью женскою”: силой взяв по пути в жены Рогнеду, в Киеве он овладевает красавицей-гречанкой, беременной женой Ярополка (откуда и “зол плод” – Святополк Окаянный), заводит в Киеве языческий культ Перуна, женится на двух “чехинях” и “болгарыне”, заводит целые гаремы с наложницами – 300 в Звенигороде, 300 в Белгороде, 200 в селе Берестовом, не щадя в своем “блудном несытстве” ни замужних, ни девиц. Но вот начинается испытание вер, и происходит оно при постоянных совещаниях с дружиной (боярами и старцами). Затем принимается христианство, и Владимир-христианин устанавливает еженедельные пиры в гриднице своей...»¹⁰.

Всем этим летописным данностям Карамзин дает собственную этическую оценку. Если в докарамзинских повестях Владимир предстал чаще всего как «Владимир-князь Киевское Солнышко Всеславьевич» (формула В.А. Левшина¹¹), то Карамзин называет посвященную ему главу просто: «Великий князь Владимир, названный в крещении Василием». И начинает ее отнюдь не комплиментарным сообщением: «Владимир с помощью злодеяния и храбрых варягов овладел государством...» (I, 121)¹². «Злодеяние» будущего святого князя, совершенное им

в борьбе со старшим братом, «горестным Ярополком», которого историк рисует «добродушным, но слабым человеком», подробно раскрывается на предыдущих страницах. А повествуя о «блудном несытстве» своего героя, Карамзин не упускает случая привести собственный «апоффегм»: «Всякая прелестная жена и девица страшилась сего любовного взира: он презирал святость брачных союзов и невинности. Одним словом, летописец называет его вторым Соломоном» (I, 123).

Нравственные сентенции Карамзина в передаче летописного рассказа соответствуют «иноческой простоте» аналогичных сентенций летописца, – но насыщаются этическим опытом «века просвещения». Летописец упрекал Владимира-язычника в кровавых жертвах, приносимых на устроенном им капище Перуна – Карамзин дополняет его собственным «апоффегмом»: «Может быть, совесть беспокоила Владимира; может быть, хотел он сею кровию примириться с богами, раздраженными его братоубийством: ибо и самая вера языческая не терпела таких злодеяний» (I, 123).

И – в полном соответствии с летописью – Карамзин круто меняет нравственные оценки, когда речь заходит о Владимире-христианине. Он даже преувеличивает его «православную просвещенность», выбирая для оценки его деятельности те критерии, которые показательны именно для «века просвещения». Вот киевский князь выступает носителем истинной веры: «Владимир не хотел, кажется, принуждать совести, но взял лучшие, надежнейшие меры для истребления языческих заблуждений: *он старался просветить россиян*» (I, 133). И тут же дано утверждение о неких устроенных князем «для отроков училищах, бывших первым основанием народного просвещения в России». Последнее указание в источниках отсутствует... Подобный образ «просветителя», представленный применительно к властителю X–XI вв., кажется явным анахронизмом.

А после рассказа о знаменитых «пирах» князя Владимира у Карамзина следует большое отступление о его «милосердии» не только к «усердным боярам и чиновникам», но и к «бедным», «которые всегда могли приходиться на двор княжеский, утолять там голод свой и брать из казны деньги». И далее: «Слова Евангельские: *блажени милостивии, яко тиши помиловани будутъ*, и Соломоновы: *дая нищему, Богу въ заимъ даете*, – вселили в душу великого князя редкую любовь к благотворению и вообще такое милосердие, которое выходило даже из пределов государственной пользы» (I, 137). Последний «апоффегм» должен был как будто приближать образ карамзинского героя к идеалу «благотворителя» и «мецената» современности.

Наконец, упомянув о том, что образ князя Владимира сохранился «в сказках народных», Карамзин делает вывод: «Сказки не История; но сие

сходство в народных понятиях о временах Карла Великого и князя Владимира достойно замечания...» (I, 142).

Эта идея стала весьма популярной в начале XIX века: ее, например, использовал другой слушатель первых глав «Истории...», В.Л. Пушкин, в брошюре «О каруселях», написанной как проспект проходившего в июне 1811 г. «московского каруселя». В ней почти дословно цитируются два указания из той же главы о князе Владимире, где Карамзин в историческом повествовании соединил свидетельства летописей с церковными и фольклорными свидетельствами: «Кроме преданий Церкви и нашего первого Летописца о делах Владимировых, память сего великого князя хранилась и в сказках народных о великолепии пиров его, о могучих богатырях его времени: о Добрыне Новгородском, Александре *с золотой гривною*, Илье Муромце, сильном Рахдае (который будто бы один ходил на 300 воинов), Яне Усмошвече, грозе печенегов, и прочих, о коих упоминается в новейших, отчасти баснословных летописях» (I, 141–142).

Василий Львович передает это сведение, приспособив к своим целям: «Насилия вельмож, разбои и опустошения от злонамеренных врагов около 996 года, при владении великого князя Владимира Святославича, по всей России распространявшиеся, заставляют предполагать, что *он был первым учредителем рыцарского богатырского в России ордена*: ибо в летописях ни при котором государе не упоминается столько о ратоборцах, необычайною силою одаренных. В дошедших до нас чрез изустные предания сказках и донныне многие из них поименно прославляются»¹³. «Проект» торжественного увеселения, с помощью сведений из Карамзина, позволил истолковать «карусель» с позиций идеи *рыцарственности*, которая, возникнув при князе Владимире, призвана была воплощаться в бытии нынешней России.

В цитированном письме Батюшкова от 13 марта 1811 г. содержалось значимое указание о том, что «Карамзин опять в Твери, говорят, по приказанию государя». В это время будущий историк, как известно, познакомился с великой княгиней Екатериной Павловной; в 1810 г. несколько раз приезжал к ней в Тверь (где великая княгиня жила со своим мужем, принцем Георгом Ольденбургским). В марте 1811 г. будущий историк читал Александру I один из первых русских трактатов по ретроспективной и сравнительной политологии под заглавием: «Записка о древней и новой России в ее политическом и гражданском отношениях» (1811). Предназначенная для Александра I и вполне соответствовавшая «просветительской» задаче «истину царям с улыбкой говорить», эта «Записка...» не очень вдохновила государя: известно, что после знакомства с нею император попрощался с историографом неожиданно холодно.

«Владимира времена» появляются в «Записке...» в кратком начальном историческом экскурсе: его имя оказывается именем последнего из «князей варяжских» и первого из великих монархов русских. «В XI в. Государство Российское могло, как бодрый, пылкий юноша, обещать себе долголетие и славную деятельность. Монархи его в твердой руке своей держали судьбы миллионов, озаренные блеском побед, окруженные воинственною, благородною дружиною, казались народу полубогами, судили и рядили землю, мановением воздвигали рать и движением перста указывали ей путь к Боспору Фракийскому, или к горам Карпатским».

Но этот блеск и мощь начальной русской монархии таили известную опасность: «К несчастью, она в сей бодрой юности не предохранила себя от государственной общей язвы тогдашнего времени, которую народы германские сообщили Европе: говорю о системе удельной. Счастье и характер Владимира <...> могли только отсрочить падение державы, основанной единовластием на завоеваниях. Россия разделилась»¹⁴.

На эту «важную ошибку в политике» князя Владимира Карамзин несколько раз указывает и в «Истории...»: «Владимир отправил малолетних князей в назначенный для каждого удел, поручив их до совершенного возраста благоразумным пестунам. Он, без сомнения, не думал раздробить государства и дал сыновьям одни права своих наместников; но ему надлежало бы предвидеть следствия, необходимые по его смерти. <...> Междоусобие детей Святославовых уже доказало противное; но Владимир не воспользовался сим опытом: ибо самые великие люди действуют согласно с образом мыслей и правилами своего века» (I, 134).

Вообще-то, строго говоря, «Россия разделилась» лет на сто позднее эпохи Владимира Святославича. И при нем, и при его сыне Русь – еще весьма крепкая единая держава, а собственно «удельная система» устанавливается лишь в XIII–XIV вв., причем в наиболее «чистом» виде – лишь в Ростово-Суздальской земле. Но Карамзину, при всем учете «правил» прошедших веков, важнее провести «вневременную» моральную идею, которая должна звучать как «урок царям».

Вероятно, именно в 1810 году, когда Карамзин, выйдя из своего «остафьевского» уединения, начал активно беседовать с молодыми литераторами о начальных страницах русской истории, и начала складываться та традиция русского исторического повествования, в которой основную роль занимала собственно *нравственная* проблематика, ориентировавшая «старинное сказание» на современные нравственные проблемы. Так, в исторической повести Батюшкова «Предслава и Добрыня», писавшейся летом 1810 г., встречаем ряд показательных «отсылочек», вроде попутного замечания о «царедворцах» князя Владимира:

«Но те из них, которые поседели не на поле ратном, а в служении *гридницы*, лучше знали сердце своего владыки...»¹⁵.

В данном случае перед нами явное «продолжение» какого-то сообщения Карамзина, которое позднее в «Истории...» приняло такой вид: «...сей князь угощал в *гриднице*, или в прихожей дворца своего, бояр, *гридней* (меченосцев княжеских), воинских сотников, десятских и всех людей именитых или *нарочитых*» (I, 136). Батюшков уверенно соединяет понятие о средневековой «гриднице» с представлениями о «придворных» нравах, явленных через восемьсот лет. Делает он это отнюдь не с целью придания своему творению «исторического колорита»: его наблюдение, напротив, оказывается уроком «не меняющейся» современности, внутри которой становится возможной кровавая история, подобная той, которая произошла в «гриднице» былинного князя.

В том же 1810 году, вероятно, под впечатлением такого же общения с Карамзиным, В.А. Жуковский начал писать поэму «Владимир». Упоминание об этой поэме находим у Батюшкова (в письме к Жуковскому от 26 июля 1810 г.): «Пиши своего “Володимира” и пришли кое-что сюда»¹⁶. Жуковский, вслед за Карамзиным, погрузился в «океан летописей», изучал труды Шлецера, сравнивал, делал обширные выписки и т.д.¹⁷ Уверенность в том, что он выпустит эту поэму (с ней связывали литературные «надежды» будущие «арзамасцы»), привела даже к публичным «призываниям», вроде послания А.Ф. Воейкова «К Ж<уковскому>», появившегося в мартовской книжке «Вестника Европы» на 1813 г.:

Состязайся ж с исполинами,
С увенчанными поэтами,
Соверши двенадцать подвигов:
Напиши четыре части дня,
Напиши четыре времени,
Напиши поэму славную,
В русском вкусе повесть древнюю:
Будь наш Виланд, Ариост, Баян!
Мы имели славных витязей,
Святослава со Добрынею;
А Владимир – русско солнышко,
Наш Готфред или Великий Карл...¹⁸

В этом стихотворном пассаже «сказка» причудливо переплетается с «историей»: имена былинных «славных витязей» будто бы соответствуют фигурам сопоставленных с Жуковским «певцов» прошлого, авторов «легких» сказочных повествований (Л. Ариосто и К.М. Виланд, к которым «для экзотики» прибавлен «первый поэт Руси» вещий Боян). Но князь Владимир, вполне в традициях Карамзина, соотнесен именно с «христианскими» вождями: Карлом Великим и Готфредом Бульонским.

Воейков, не зная о формах будущего повествования Жуковского, представляет задуманную им поэму как стоящую на границе собственно исторического и фантастического рассказа.

Чуть позднее воейковский призыв к Жуковскому был повторен в «ученой» форме. Молодой тогда С.С. Уваров в одной из статей, разбивавших основы русского гекзаметра, между прочим, заявил о своих беседах «с моим приятелем г-м Жуковским, которого превосходный талант в поэзии довольно известен»: «Зачем, я говорил ему, не избрать эпоху древней нашей истории, которую можно назвать эпохою нашего рыцарства, в особенности эпоху, предшествовавшую введению христианской религии? Тут вы найдете в изобилии все махины, нужные в поэме. Что может быть для поэта обширнее наших походов на Царьград? что разнообразнее древнего нашего баснословия?»¹⁹.

Через год после послания Воейкова Жуковский, в том же «Вестнике Европы», опубликовал ответное послание, датированное 29 января 1814 года. В примечании к нему Жуковский отметил, что Воейков «написал несколько стихов в похвалу поэмы <...> “Владимир”, существующей в одном только воображении». И далее – в конце послания – представил стихотворную программу этой «воображенной» поэмы, действие которой происходит в точно обозначенное историческое время:

Вот наше солнышко-краса
Владимир-Князь с богатырями;
Вот Днепр кипит между скалами;
Вот златоверхий Киев град;
И бусурманов тьмы, как пруги,
Вокруг зубчатых стен кипят;
Сверкают шлемы и кольчуги;
От кликов, топота, коней,
От стука палиц, свиста пращей
Далёко слышен гул дрожащий <...>²⁰

На эту «историческую» канву накладывается, однако, фантастический узор: «Добрыня, богатырь могучий, / И конь его Златокопыт»; «девица-краса» и, естественно, «Баба-Яга», «змей шестиглав», «ручей с живой водою», «русалка», «леший козлоногий» и т.п. В «прозрачной пелене» времен святого князя Владимира происходит какое-то странное единение собственно исторических и фантастических данностей. В них уживаются исторические события и образы явно фантастические, «небывалые». При обращении к последующим – даже и близким к ним эпохам (например, ко времени Ярослава Мудрого) подобное единение уже немислимо.

В пушкинской поэме «Руслан и Людмила», прямо связанной с несущественными поисками Жуковского, находим подобное же едине-

ние *истории* и *сказки*. Заметим, что в первой редакции поэмы Пушкин ни разу не называл ее «сказкой» – несмотря на очевидные «сказочные» элементы. Авторское сознание (как и сознание первых критиков) определяло повествование исключительно как *поэму* («богатырскую», «волшебную», «шуточную» и т.п.). Да и в 1828 году, когда в знаменитом прологе к поэме появилась «сказка», она понималась несколько иначе, чем сейчас: как нечто записанное со «сказанного» – *сказыванье* (В.И. Даль). *Сказка* – это то «чужое слово», которое может принять облик любого повествовательного жанра – в том числе и жанра поэмы. Знаменательно в этом отношении известное признание Пушкина в письме к брату от ноября 1824 года из Михайловского: «Что за прелесть эти сказки! *каждая есть поэма!*» (XIII, 121; курсив мой. – В.К.). Эта установка соответствовала общей цели поэтического творчества, о которой Пушкин писал: «Ради Бога, почитай поэзию – доброй, умной старушкою, к которой можно иногда зайти, чтоб забыть на минуту сплетни, газеты и хлопоты жизни, повеселиться ее милым болтаньем и сказками...» (XIII, 19). В жанре *сказки* Пушкина привлек сам принцип отношения к факту, о котором повествуется: переданный сказочными средствами, факт становится непереводаем в быт реальный и неподвластен формальной логике.

При этом «Руслан и Людмила» начинается как демонстративно *историческое* повествование о «давно минувших» временах:

Дела давно минувших дней,
Преданья старины глубокой.
В толпе могучих сыновей,
С друзьями, в гриднице высокой
Владимир-солнце пировал <...> (IV, 7).

Перед нами – как будто прямая цитата из карамзинской «Истории...», приведенная выше. Эти цитаты продолжены и далее, например при характеристике соперника главного героя витязя Рогдая, в черновицах поэмы он именуется Рохдай –

...воитель смелый,
Мечом раздвинувший пределы
Богатых киевских полей <...> (IV, 8).

У Карамзина среди богатырей Владимира-князя упомянут *Рахдай*, – как раз в том фрагменте исторического повествования, где говорится о том, что князь «расширил пределы Государства на Западе» (I, 141).

Сам *Владимир-солнце* в поэме Пушкина – «старый князь», «старик, измученный тоской» и даже «старец». Это скорее «былинная», а не «летописная» данность. Согласно летописи, в 988 году, когда Русь приняла христианство, Владимиру было около 40 лет. Действие же поэмы явно

происходит еще в «языческие» времена: молодым свивает брачный венец языческий бог любви Лель; Руслана преследуют представители «дохристианской» нечистой силы – русалки, ведьмы, великаны и т.д. Из собственно «христианских» реалий Пушкин упоминает разве что о «горестной молитве» Владимира... Образ исторического князя оказывается близок его фольклорному восприятию, которое через тридцать лет после «Руслана...» обобщил К.С. Аксаков (статья «Богатыри времен великого князя Владимира...», 1850): «Владимир в песнях не одарен богатырской силой, не имеет даже храбрости, часто смущается и пугается перед бедою... Но зато образ этот вполне добродушен, но зато привет и ласка – его неотъемлемые качества. Добрая душа греет людей, и страшно могучие богатыри Владимира, от подвигов которых он иногда не знает сам куда деваться, любят его, служат ему охотно и зовут “красное солнышко, ласковый Владимир-князь!” Постоянно радушный и ласковый хозяин, Владимир является в песнях почти всегда на пиру со своими гостями»²¹. Былинным (и, согласно Карамзину, вполне историческим) мотивом пира Пушкин начал свою поэму. Им же и закончил:

И, бедствий празднуй конец,
Владимир, в гриднице высокой,
Запировал в семье своей <...> (IV, 84).

В пушкинской поэме присутствуют и другие «повторения» из карамзинской «Истории...». Терем Владимира, отмечал Карамзин, был открыт для простых киевлян, «которые всегда могли приходиться на двор княжеский» (I, 137). У Пушкина: «Печальный терем всем открыт» (IV, 78). И осада Киева печенегами очень похожа на соответствующее карамзинское описание (см.: I, 134–135):

<...> Толпы врагов
С зарею двинулись с холмов;
Неукротимые дружины,
Волнуясь, хлынули с равнины
И потекли к стене градской <...> (IV, 82).

И как у Карамзина исход боя решил один «россиянин» своими «крепкими мышцами»: после его подвига «дружина княжеская, воскликнув победу, бросилась на уstraшенное войско печенегов, которое едва могла спастись бегством» (I, 135), так и у Пушкина «конные славяне», прежде бежавшие от врага «нестройными рядами», воспрянули, завидев побеждающего Руслана:

Объемлет ужас печенегов;
Питомцы бурные набегов
Зовут рассеянных коней,

Противиться не в силах боле
И с диким воплем в пыльном поле
Бегут от киевских мечей... (IV, 83).

В черновиках «Руслана и Людмилы» эпизод нападения печенегов на Киев сопрягался с «былинным» мотивом: в городе на ту пору не оказалось ни единого «богатыря»:

Злосчастный град! Увы! Рыдай –
Твой светлый опуст<еет край>
Ты станешь бранная пустыня!
Где твой неистовый Рогдай,
Илья, Руслан и твой Добрыня!
Кто Князя Солнце оживит? (IV, 266).

Потом Пушкин приглушил этот «былинный» мотив: для него оказалось важнее сохранить для своей *фантастической* поэмы некое *историческое* «обрамление»: поэма, в сущности, начинается и заканчивается «зарифмованными» цитатами из «Истории государства Российского».

Особенную роль в этом «поэжном» мире начинает играть «Князь Солнце» – Владимир. Топос обитания Владимира – «златоверхий град» Киев, с его «теремами», «стогнами», «народом»:

Владимир-солнышко в то время
В высоком тереме своем
Сидел, томясь привычной думой.
Бояре, витязи кругом
Сидели с важностью угрюмой <...> (IV, 77).

Это, пожалуй, единственный из названных по имени персонажей пушкинской поэмы, кто обитает не в «фантастическом», а в *реальном* (хотя и удаленном в условный X век) мире. Это обстоятельство придает ему парадоксальные качества. Его «меньшую дочь» некто похищает волшебным образом прямо с «брачной постели», а он, ничего не зная о похитителе, посылает тем не менее четырех витязей «скакать» за нею неведомо куда. Для «витязей», входящих в его ближайшее окружение, встреча с фантастическими персонажами – обыденное явление: «То бьется он с богатырем, / То с ведьмою, то с великаном...» (IV, 56). А пославший их «Владимир-солнце» ничего подобного не встречает, лишь слушает «рассказы» этих самых «витязей» – и поневоле должен верить даже заведомой лжи, вроде той, которую сообщает ему Фарлаф, привезший спящую Людмилу:

Я так нашел ее недавно
В пустынных муромских лесах
У злого лешего в руках;
Там совершилось дело славно;
Три дня мы билися <...> (IV, 78).

При этом фантастические существа, даже «волшебник страшный Черномор», как будто «смирняются» перед князем Владимиром; Черномор, к примеру, спокойно уживается в его тереме в роли «придворного карла» (IV, 272) – или, в смягченной белой редакции: «Лишенный силы чародейства, / Был принят карла во дворец» (IV, 85). Перед нами воплощенный идеал доброты, великодушия и детской наивности и доверчивости: некий «отец наш», который по заслугам, при всем народе, «не скоро» выпивает «мед из тяжкого стакана» или принародно горюет, «тоской тяжелой изнурясь» (IV, 78).

Иным он, впрочем, и не может быть по историческим (и, соответственно, литературным) представлениям. Согласно летописи (и Карамзину) князь Владимир стал «добрым» только после того, как принял святое крещение, а для христианина оказывается просто невозможным общение с прежней «нечистой силой»: он даже предпочитает ее «не знать»! И при этом «Владимир-солнце» предстает как некое верховное существо, являющееся «несомненным» владыкой и одновременно носителем этакого «рубежного» сознания – от «многоцветного» в своей причудливой фантастике язычества к строгому и нравственному, но «нефантастическому» христианству.

Собственно, с осознания этой странной фигуры и началось русское романтическое мышление в том виде, в каком оно явилось в первой половине XIX столетия. Представленная Карамзиным – в его интерпретации начальной летописи – «рубежная» историческая фигура девятистолетней давности совмещала в себе собственно «реальные» и «фантастические» черты. Именно таким и предстал русский романтизм в его основных свершениях – вечно колеблющийся между действительностью и мечтой. Именно такую возможность его бытования и определил Карамзин еще весной 1811 года – своим первым «историческим» чтением.

Примечания

¹ Батюшков К.Н. Соч.: В 2 т. М., 1989. Т. 1. С. 211.

² Батюшков К.Н. Соч. М.; Л., 1934. С. 487.

³ Вяземский П.А. Письма к К.Н. Батюшкову // Литературный архив: Материалы по истории русской литературы и общественной мысли. СПб., 1994. С. 132.

⁴ См.: Батюшков К.Н. Соч.: В 2 т. Т.2. С. 214.

⁵ Там же. С. 159.

⁶ Там же. С. 112, 122, 136.

⁷ Там же. С. 173–174, 181. Курсив мой.

⁸ Там же. С. 43.

⁹ *Пушкин А.С.* Полн. собр. соч. АН СССР, 1937–1949. Т. 12. С. 305. В дальнейшем ссылки на это издание приводятся в тексте (с указанием тома и страницы).

¹⁰ *Романов Б.А.* Люди и нравы Древней Руси: Историко-бытовые очерки XI–XIII вв. М.-Л., 1966. С. 123.

¹¹ Приключения славянских витязей: Из русской беллетристики XVIII века. М., 1988. С. 277.

¹² Здесь и далее цит. по: *Карамзин Н.М.* История государства Российского. 5-е изд. СПб., 1842. В скобках указывается номер тома и столбца этого издания.

¹³ *Пушкин В.Л.* Соч. / Под ред. В.И. Саитова. СПб., 1893. С. 131.

¹⁴ *Карамзин Н.М.* Записка о древней и новой России в ее политическом и гражданском отношении. М., 1991. С. 17, 18.

¹⁵ *Батюшков К.Н.* Соч.: В 2 т. Т. 1. С. 277.

¹⁶ Там же. Т. 2. С. 139.

¹⁷ См.: *Канунова Ф.З.* Русская история в чтении и исследованиях В.А. Жуковского // Библиотека В.А. Жуковского в Томске. Ч. 1. Томск, 1978. С. 413–421.

¹⁸ Вестник Европы. 1813. № 5–6. С. 27–28.

¹⁹ *Уваров С.С.* Ответ В.В. Капнисту на письмо его об экзаметре // Чтения в Беседе любителей русского слова. Чт. 17. СПб., 1815. С. 64–65.

²⁰ *Жуковский В.А.* Полн. собр. соч.: В 20 т. М., 1999. Т. 1. С. 311.

²¹ *Аксаков К.С.* Эстетика и литературная критика. М., 1995. С. 239.